



Зодчий-Без-Очей



Владимир Аренев

ФАНТАСТИКА

«Также нами найдены в оазисе глиняные таблички, очень древние, чудом сохранившиеся. Клинописный текст, кажется, удастся расшифровать, хотя на последней из табличек он смазан, словно человек водил по поверхности написанного пальцем; к тому же края табличек обломаны, а часть попросту утеряна».

Из отчета одной экспедиции

...иду по городу, неторопливо, со вкусом, смакуя каждый шаг.

— Доброе утро! — подобоострастно кивает мне разносчик воды.

— Доброе утро! — радостно кланяется купец.

— Доброе утро! — машут крыльями голуби, проваливаясь в колодец неба.

— Доброе утро! — отвечаю я им — всем вместе и каждому в отдельности — улыбкой, жестом, взглядом. Иногда и словами, как, например, верховной жрице храма Весеннего Разлива, моей старинной знакомой. Она смеется:

— Скоро ли достроишь Башню, Зодчий?

— Скоро! Очень скоро! — И добавляю с запоздавшим смирением: — Если будет угодно богам, разумеется.

Она с серьезным видом подтверждает:

— Угодно. — Но глаза ее по-прежнему смеются. — А разве, — добавляет, — тебя остановило бы, если б они были против? — И уходит, не дожидаясь ответа. Да он ей и не нужен.

А я продолжаю свой путь, приветствуя город и его обитателей: «Доброе утро, доброе утро, доброе...»

— Доброе утро, пустой человек.

Я встречаю пристальный взгляд слепых глазниц Безмятежного Дядюшки и пожимаю плечами:

— Доброе.

Дядюшка — местный умалишенный, впрочем, тихий, неназойливый. Лишь иногда он произносит туманные проповеди — стенам, мостам, деревьям, норовящей бросить в него камень ребятне. Ему все равно, он улыбается миру, как улыбается своей возлюбленной познавший взаимность юноша. Как улыбаюсь я своей Башне.

— Доброе утро, Дядюшка. Но почему ты назвал меня пустым человеком? Я не пустой, устойчивый, быть может, но не...

Он пожимает плечами:

— Ты не только пустой, ты еще и слепой человек. Но скоро ты прозреешь. Ступай, я буду молиться за тебя.

— А я — за тебя, — отвечаю ему (мое настроение сегодня ничем не испортить!). И иду дальше — по мостовым, через площади, сквозь базарную толчею, крики верблюжьих погонщиков, вопль новорожденного, столбы солнечного света, увязшие в узорчатых решетках храмовых окон... Иду через город к Южным воротам — на Молитвенный Утес, где вот уже более трех десятков лет тянется к небесам она — моя возлюбленная, моя мечта, моя жизнь!

Башня.

Она рождается не в первый, но в последний раз. Сперва она поднялась, выстроенная из обломков кирпича и кувшинных черепков на внутреннем дворике дома моего отца. Тогда она едва дотягивалась мне, мальчишке, до пояса и была хрупкой, непрочной, уродливой (теперь я это отчетливо понимаю). Позже она часто снилась мне — и всякий раз становилась совершеннее и завершеннее. Ее образ преследовал меня, не давал покоя ни во сне, ни наяву. «Возведи меня!» — требовала она.

Я не мог и не желал противостоять этому зову!

И я возвел ее во второй раз — в чертежах на глиняных табличках, в словах, обращенных к Совету высших жрецов. Совет поддержал меня — мою идею возвести высочайшую башню как монументальную молитву богам в благодарность за их доброту и щедрость. Поддержал меня и Правитель, ибо Башня привлекала бы в город толпы паломников, а кроме того, стала бы маяком для мореходов. А для меня это было величайшее проявление человеческого духа, созидательный акт, сравнимый с актом сотворения мира.

Но как далек я был тогда от того дня, когда на строительную площадку лег первый камень фундамента, и уж тем более от момента завершения Башни! Больше года потребовалось лишь для того, чтобы опросить оракулов и собрать благоприятные знамения; еще столько же, чтобы подготовить Молитвенный Утес, а вместе с ним и кирпичи, бесчисленные, словно капли дождя; непрерывным потоком, как в половодье, доставить по загодя вырытому каналу асфальт и земляную смолу... И еще тридцать лет, тридцать долгих лет ушло на то, чтобы сегодня я мог смотреть на ее стройное изящное тело, опутанное (пока, но скоро ее снимут!) паутиной лесов.

Я знал, что меня ждет, я был готов к этому. Я лишь надеялся, что доживу до того момента, когда на вершине Башни загорится огонь маяка, когда моя молитва к тем, кто создал этот мир, зазвучит между небом и землей — вольно, ярко, вдохновенно!

Скоро, уже скоро, скорее, чем я мог предположить! Сегодня я отчетливо видел это, глядя на ее точеный силуэт, перечеркивающий небеса. Всего пару месяцев, и огонь маяка зажжется. «Еще немного терпения и труда!» Я улыбаюсь миру и начинаю свое извечное, кажущееся восхождение на Утес, чтобы...

...приснился сон. И я не знал, кошмар это или наоборот — благое знамение из будущего.

Поднявшись с постели, я вышел во внутренний дворик и присел на бортик фонтана. Журчание прохладных струй немного успокоило меня, а шелест листьев смоковницы и лунный свет словно вернули обратно — в эту ночь, в мой собственный дом. Но мыслями я оставался в том будущем, которое привиделось мне во сне.

Я видел, как в корзине, сплетенной из золотых прутьев, Правитель несет по лестнице на самую вершину Башни последний камень, чтобы уложить его в основание храмового алтаря. Точно так же нес он и уложил первый кирпич в фундамент Башни; первый — во второй укладывал я, и рука моя не дрогнула!

Теперь она дрожит, эта рука. Она состарилась, она покрыта шрамами и мозолями, и на ней недостает безмятного пальца, которого я лишился шесть лет назад, когда нерадивые рабы не проверили новые канаты лесов на прочность. Мои мысли сейчас уподобились тем канатам: они звенят и лопаются, одна за другой! И разум мой, как сидящий в люльке скульптор, вот-вот обрушится вниз, в пучину безумия.

Я поднимаюсь с бортика фонтана и начинаю мерить шагами дворик, по привычке отсчитывая расстояние. Отмечаю, что крайний столбик на галерее покосился, а потом... потом я бью кулаком по шершавому стволу смоковницы — бью опять и опять, до тех пор, пока на руке не проступает кровь, а до сознания не добирается боль.

Только так мне удается прийти в себя. (...Правитель укладывает последний камень, а верховная жрица храма Весеннего Разлива зажигает священный огонь...) Я возвращаюсь к фонтану, но теперь не присаживаюсь на бортик (...дружный гул славословий раскатами грома разносится за стенами Башни, достроенной Башни!...) — я всматри-

ваюсь в черную воду с колеблющимся на ее поверхности Божьим Грошом. (...Достроенной Башни! — вот он, момент, о котором я...) Взматриваюсь в воду — и не могу разглядеть там собственного...

...не понимают. С удивлением и опаской переглядываются у меня за спиной, но — Зодчий приказал! — делают, что я велю. В конце концов, наемным рабочим исправно платят, а рабы, что потомственные, что новые, еще недавно бывшие воинами враждебного нам города огнепоклонников, только радуются: работы приостановлены! Одержимый Зодчий перестал требовать ежечасного, круглосуточного труда! Видно, боги смилостивились, услышали их молитвы!.. Так думают они, эти рабы, но им никогда не узнать правды.

Боги жестоки. Рабам следовало бы вспомнить историю об Охотнике, который расплатился с Безумным Царем «монетой, которая всегда возвращается к своему владельцу». Охотник вручил ему раскаленный Божий Грош, и сколько бы Царь ни пытался выбросить его, Грош всегда снова оказывался в его ладонях. Тогда Царь бросился в море, но даже когда он стал призраком волн, Грош не покинул его. Правда, до Царя владельцем Гроша был Охотник, так что, по сути, Грошей-то стало целых два: один сияет на небесах, второй блестит в воде. Справедливость соблюдена. И лишь когда миру придет время умирать, небо опустится на землю и два Гроша снова станут одним...

Отдав приказания, я спускаюсь с Утеса и смотрю на Башню. Еще одна Башня до сих пор возвышается в моей душе. Но теперь я знаю: когда эта, на Утесе, будет закончена, моя, которая в душе, рухнет. И тогда... что тогда?

С горечью вспоминаю слова Безмятежного про...

...недопустимо! — заявляет Правитель.

За прошедшие годы он сильно подряхлел, сдал, но воля его по-прежнему подобна Утесу: такая же нерушимая и бесспорная — воля воплощенного на земле божества. Перечить ему невозможно, немислимо.

Но я все-таки осмеливаюсь.

— Мне было знамение, — говорю я. — Боги одарили меня вещим сном. И велели на время приостановить строительство.

И я пересказываю ему выдуманный сон, а Правитель слушает. И слушают, внимательно наблюдая за мною, крылатые быки и львы с человеческими головами, и недоверчиво колышется пламя в светильниках, и зал, длинный, гулкий, пустой тронный зал подхватывает мои слова и играет ими, стены перебрасывают их, как мальчишки тряпичный мяч, набитый травой, и в конце концов зашвыривают их в угол: что за чушь!

Пусть так: у меня не было ни времени, ни выбора, но я верю в то, что приостановить строительство необходимо, и твердо гляжу в третью снизу ступеньку, ведущую к трону, и жду приговора.

И он звучит — но не сверху, из уст Правителя, а откуда-то из-за моей спины.

— Извини, Зодчий, — говорит мне верховная жрица. — Ты ошибся. Ты видел сон, но неверно понял его. Боги настаивают на скорейшем возведении Башни.

Я склоняюсь в глубоком поклоне: ниже, еще ниже.

— Как будет угодно богам...

Она догоняет меня уже в коридоре, точнее, не догоняет, а выходит из-за очередного поворота, совсем не запыхавшаяся, с мягкой улыбкой на губах.

— Итак, ты понял, — утверждает она. И в голосе ее печаль.

— О чем ты?

— Ты знаешь, о чем. Ты понял, что строительство Башни вот-вот завершится — и тогда она перестанет быть твоей. Ты, бывший никем и ставший великим Зодчим, снова станешь никем, хотя и останешься великим Зодчим. Жизнь твоя превратится в бессмыслицу, ибо ты всецело посвятил ее Башне, только ей.

— Так ты решила этим отомстить мне за старое?

— Я решила спасти тебя.

Качаю головой:

— Я думал, все наши ссоры и разногласия в прошлом. Ты ведь стала жрицей, верховной жрицей. Я никогда не смог бы дать тебе и половины того, что есть у тебя сейчас.

— Зодчий, ты такой же, каким и был, ты не повзрослел ни на минуту с того дня, когда решил посвятить себя Башне. Но нельзя вечно оставаться мечтателем. Пора взрослеть. — И она уходит, а я гляжу ей вслед, сжав кулаки, не в силах изменить ее решение, которое обязывает меня строить Башню дальше, выше, до самых небес, до последнего камешка, после которого я, Зодчий, закончусь, иссякну, погасну для мира.

Иду по городу.

— Добрый день, пустой человек.

Безмятежный Дядюшка улыбается мне, как улыбается всегда — стенам, мостам, деревьям, норовящей бросить в него камень ребячине. Ему все равно. Да нет, понимаю я вдруг, ему хорошо!

— Добрый день, Дядюшка. Недавно ты назвал меня еще и слепым. Но кажется, я прозрел. Слишком поздно, но...

Он пожимает плечами:

— Ты по-прежнему слеп, пустой человек. Тебе только кажется, что ты прозрел. Но ничего, скоро ты действительно прозреешь. Я буду молиться за тебя. — Он вздыхает и начинает тихо-тихо напевать:

Промчалась жизнь, прошла, как сон, —

Гаси свечу.

Молитвенное колесо

Кручу, верчу.

Подай мне, Боже, медный грош

От всех щедрот.

Подай мне, Боже, медный грош —

Его хочу.*

Поднимает голову и кладет мне на плечо свой невыносимо тяжелый взгляд:

— Хочешь Божий Грош, Зодчий?

Я только...

...с третьего раза катапульты пристрелялись, и камни наконец начали попадать в Башню. Я стою на крыше своего дома и смотрю. Иногда эти камни падают и в городе — то ли случайно, то ли огнепоклонники решили не надеяться только на мое слово и понемногу пристреливаются к казармам. Слуги пытались увести меня в дом (наш район как раз находился в кварталах, попавших под обстрел), но я отказался.

Я должен видеть все, до конца. Я заплатил достаточно высокую цену за это право и эту возможность. Шестеро огнепоклонников, ожидающих здесь же, во дворе, чтобы я убедился в том, что Башня разрушена, а потом ночью провел их к воротам и помог отпереть засовы, понимают: я в своем праве, и не мешают мне. Слугам я сказал, что эти шестеро — мастера-строители, никоим образом не причастные к нападению на город; кажется, поверили.

Я смотрю. Проломленная в нескольких местах, покосившаяся, она все еще стоит. Камень за камнем попадает в нее — стоит! А потом обстрел прекращается (видно, случилась заминка), и в это время Башня начинает падать.

Она падает медленно, мучительно. Так заваливается на бок старая верблюдица, которой вдруг отказали ноги и которая еще не поняла, что же происходит... В море, в море падает Башня, разбрызгиваясь во все стороны обломками лестниц и колонн, лепных украшений и дверных арок. В море, в волны, в ничто!

Я ждал, что мне станет легче, но ничего не изменилось. Только главный из тех шестерых произносит, тронув меня за плечо:

— Уговор выполнен. Теперь твой черед.

Я рассмеялся ему в лицо:

— Теперь...

Договорить не успел: с улицы доносится шум, потом во внутренний дворик врываются стражники, позади них тащится мой садовник с перекошенным от страха, но решительным лицом. Видно, не поверил моим словам и донес-таки.

«Хорошо, что именно сейчас прибежали, а не раньше», — думаю, глядя, как они заламывают руки огнепоклонникам.

Потом стражники...

* Здесь и далее стихи О.Ладыженского.

...меня, — шепчет верховная жрица. — Прости.

В ее руках — щипцы, которыми она неумело удерживает раскаленный прут; на конце его — круглая печать Правителя. Кажется, щипцы должны быть очень тяжелыми и ей не по силам поднять их. Но она удерживает. А я только благодарен: ведь лучше она, чем палач. Это то единственное снисхождение, которого я удостоился от Правителя.

Смотрю на нее, силясь запомнить каждую черточку ее лица. Она словно догадывается:

— Не надо. Так будет легче. Закрой глаза.

Мотаю непослушной головой — боль пляшет по костям, звенит цепями, на которых я подвешен, острыми когтями терзает грудь. Но я... я хочу видеть. Напоследок.

Она закусывает нижнюю губу и подносит прут к моему лицу. Круглая печать Правителя приближается к правому глазу, и я вскрикиваю, но не от боли: просто я вдруг понял, на что похожа печать!

*Подай мне, Боже, медный грош —
Его хочу.*

И еще один раз, к левой глазнице, подносит...

...в рабство, сперва к огнепоклонникам, потом к кочевникам. Так повелел Правитель, решив, что смерть будет недостаточно суровым наказанием за мое преступление.

Я не роптал. И не ропщу по сей день.

Мои хозяева обращаются со мной сурово, но кормят и поят и позволяют спать по праздникам до самого восхода солнца. В оазисе лучше, чем в городе огнепоклонников или в караване, да я и стар для постоянных странствий в песках — хозяева поняли это и решили оставить здесь. Они считают меня безумцем, а значит, приближенным к богам. На это я только улыбаюсь (безумной, конечно же, усмешкой) и вспоминаю об Охотнике и Божьем Гроше. Те два, что положены в мои глазницы, жгут меня по сей день, но я держу их, крепко прижимаю несуществующими веками к несуществующим глазным яблокам и улыбаюсь.

— Доброе утро! — шороху пальмовых листьев.

— Доброе утро! — попискивающему на стене геккону.

— Доброе утро! — мальчишкам, швыряющим в меня верблюжьем навозом и кусочками коры. — Доброе утро!

— Доброе утро, пустой человек, — говорит мне Безмятежный Дядюшка. Теперь он частенько навещает меня, когда я поселился в оазисе, а раньше приходил от случая к случаю. Мы беседуем с ним, или говорим каждый о своем, или подолгу слушаем друг друга.

— Теперь я действительно ослеп, — говорю я ему.

Он смеется:

— Теперь ты прозрел, пустой человек. Ты прозрел... вот только по-прежнему остался пустым.

— Но почему ты меня так называешь?

— Э-э-э!.. — тянет он на манер здешних старцев-мудрецов. — Э-э-э!.. Сам ведь знаешь — ну так и ответь мне. — И он кладет мне на плечо свой взгляд — дружеский, хитрый, всезнающий.

Отвечаю, сам удивляясь тому, откуда берутся слова:

— Человек, посвятивший себя одной-единственной идее, какой бы великой она ни была, человек, разучившийся радоваться жизни, позабывший о доме, родных, любви, пожертвовавший судьбой, дарованной ему богами, ради Цели... о да, он становится великим человеком, но...

— И ты великий человек, Зодчий! — хохочет он. — Ой, великий!

— ...но такой человек, — продолжаю, отмахиваясь от Дядюшкиных слов, как от назойливой мухи, — такой человек становится пустым человеком: отбери у него Цель, а лучше позволь ей осуществиться — и что же тогда?

— Вот что! — отвечает Дядюшка, хлопая ладонью по песку. Зачерпывает горсть и позволяет ей сыпаться струйками меж пальцев. — Вот что, Зодчий!.. Но ты начинаешь взрослеть, — говорит он Её голосом. — Так взрослей!

И Дядюшка уходит, а я поднимаюсь, чтобы догнать его и спросить: как? Но наткаюсь на что-то и падаю.

— Эй, осторожнее! — обиженно машет крылами мальчишечий голос. — Ты же всю башню развалил!



ФАНТАСТИКА

— Развалил, — признаюсь, усаживаясь рядом с ним. Нашариваю руками обломки: глиняные черепки, камни, кусочки дерева. — Давно ты ее строишь?

Недоверчивая тишина: все-таки я считаюсь безумцем, а безумцам не пристало задавать такие разумные вопросы.

— Давно, — наконец признается мальчишка. — С самого утра.

— Какая она, твоя башня?

— Разломанная! Из-за тебя! Недаром тебя зовут Зодчий-Без-Очей.

Улыбаюсь:

— Но ты ведь строишь ее не в первый раз, я заметил. И не в последний... Так какая она?

— Как песня, — очень серьезно, по-взрослому, заявляет он. — Я не могу тебе объяснить. А ты... ты правда когда-то был тем самым Зодчим?

— Был. Тем самым.

— А... какой была та Башня?

— Как песня, — отвечаю я. И тихо-тихо напеваю нашу с Дядюшкой:

*Подай мне, Боже, медный грош
От всех щедрот.
Подай мне, Боже, медный грош —
Его хочу.
Мне хорошо с моим грошом,
С Твоим грошом,
Уйти к святым в пресветлый рай,
В ад к палачу.
За все заслуги и грехи
Я заплачу.*

— Здорово, — шепчет мальчишка вечность спустя. — А почему ты тогда ее?.. Нет, не отвечай. Слушай, а ты расскажешь, как ты смог ее построить? Такую!

— Ты вправду этого хочешь?

— Очень!

— Тогда приходи вечером и прихвати с собой глиняные таблички.

— Я не умею писать.

— Тебе придется научиться этому. И еще многому другому.

— Я согласен!

Это хорошо, думаю я, слушая, как он мчитсЯ домой, позабыв про порушенную мной башню из щепок и камней. Это хорошо. Я научу тебя, мальчик, как построить твою мечту, как сделать ее живой, настоящей. Но я постараюсь добиться и намного большего: я научу тебя, сынок, как при этом...

*«Найденные таблички, несомненно, являются
очередной фальсификацией и никакого интереса
для науки не представляют».*

Из заключения экспертов

